

ИГОРЬ
ГУБЕРМАН



**ВОСЬМОЙ
ДНЕВНИК**

Игорь Миронович Губерман

Восьмой дневник

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6113454
Губерман И. Восьмой дневник : Эксмо; Москва; 2013
ISBN 978-5-699-66580-8

Аннотация

Сегодня мне исполняется семьдесят шесть, идёт вторая половина восьмого десятка лет, я неуклонно приближаюсь к месту моего назначения. И даже графоманы перестали слать мне свои опусы – должно быть, полагая, что ввиду маразма я уже их не смогу благословить. В эти годы самая пора сидеть на завалинке, курить табак-самосад и вспоминать, как воевал с Наполеоном...

Содержание

Предисловие	4
Туманный Альбион	8
Города и годы	13
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Игорь Губерман

Восьмой дневник

Моим читателям и зрителям – с великой благодарностью

Предисловие

Конечно, есть на свете книги редкой выделки: текст написан кровью сердца, переплёт – из кожи автора. Моя к такому виду не относится: ума холодных наблюдений больше в ней, чем сердца горестных замет. На самом деле я хотел бы написать совсем другую книгу. Тема Вечного Жида, история Агасфера давно уже волновала меня великодушием Христа к тому случайному жлобу, который подвернулся по дороге на Голгофу. Ведь назначенное ему вечное скитание запросто могло обернуться куда большим кошмаром – неразлучностью с женой, имя которой подворачивалось так естественно: Агасфирь. Я даже их характеры продумал: она была энергична и предприимчива, а он – меланхоличен и ленив. И такие тут коллизии безвыходной семейной жизни мог бы я наворотить, что эта книга стала бы лучшей из лучших в описании грядущего матриархата. Но, по счастью, я лишён таланта бытописателя, такую книгу я не потяну, её напишет кто-нибудь другой. А я по колее привычной поплечусь и свой дневник продолжу как умею. Как-то я прочёл у Андрея Синявского, что название книги должно звучать как музыка и сразу же нести тот смысл, который вложен в книгу. Насчёт музыки не знаю (очень я немусыкален), а нехитрый смысл всего дальнейшего названием «Дневник» сполна исчерпан: тут и в самом деле будут содержаться только записи моих летучих впечатлений и несложных мыслей по пути. Кстати, там же у Синявского набрёл я на совет матёрого литературного знатока и не поленился даже выписать, настолько мне пришлась по нраву эта хлесткая безжалостная мысль: «Чтобы написать что-нибудь стоящее, нужно быть абсолютно пустым». Чего-чего, а пустоты вполне достаточно, могу спокойно приниматься за письмо.

Хорошо и приятно писать о самом себе, подумал я. Не надо сидеть в библиотеке, ползать по Интернету, никакой не сделаешь позорной ошибки, а если что наврёшь, так на здоровье, и читателю гораздо интересней. Плиний Старший меня в этом смысле очень поддержал, где-то написав весьма ободряюще: «Нет книги столь плохой, чтобы она была бесполезной». Очень я ценю древних мыслителей и всегда нахожу у них цитаты на все случаи жизни. Эти цитаты ещё тем хороши, что их и проверять никто не станет – кому охота копаться в такой древности? Поэтому я давно уже изготавил и держу в запасе большие выписки из бесед Эмпедокла с Тетрациклином. А самому себе глубоких переживаний и ветвистых мыслей не приписываю (нет их начисто) – живу и покрываю буквами бумагу. А касаясь того, что мельтешу, перемещаясь по пространству, как цыган с медведем (в одном лице), – так, слава богу, и кормление семьи отсюда происходит, и чего наповидаю, сразу же о том и напишу.

Сегодня мне исполняется семьдесят шесть, идёт вторая половина восьмого десятка лет, я неуклонно приближаюсь к месту моего назначения. И даже графоманы перестали слать мне свои опусы – должно быть, полагая, что ввиду маразма я уже их не смогу благословить. В эти годы самая пора сидеть на завалинке, курить табак-самосад и вспоминать, как воевал с Наполеоном. Это сезон, когда давно перестал захлёбываться от обилия жизненных соков, зовущих на эскапады и приключения, и время течёт ровно, у него и ритм иной, чем ранее когда-то. Ритм молодого существования похож на стук каблуков человека, легко сбегającego с лестницы. Ритм стариковский – это звук шагов того же человека, много лет спустя тяжело поднимающегося по тем же ступенькам. А посреди ещё – кризис среднего возраста.

Впрочем, я легко перенёс его в тюрьме и лагере, где надо было не о смысле жизни думать, а скорее – о сохранности её. И возраст мой сегодняшний меня довольно мало удручает, я ещё со школьных лет помню прекрасные слова, услышанные мною во дворе. У нас в соседнем доме жили две проститутки (работали они на Белорусском вокзале). Даже имена их до сих пор помню – Валя и Наташа (на вокзале – Эвелина и Нателла). В воскресные дни они часто сиживали в полдень на дворовой скамейке – курили «Беломор» и лузгали семечки. Мы, мальчишки, часто тёрлись поблизости – невыразимая была в них привлекательность для нашего подросткового возраста. Им было лет по тридцать, и пессимистка Эвелина порой об этом грустно вспоминала. А подружка Нателла всякий раз ей говорила: «Ты, Валюха, не тушуйся, мы ещё нужны людям!» Я эти слова запомнил на всю жизнь.

Ну ладно, вечером большая пьянка предстоит. С утра я посмотрел злорадно на отложенную накануне пачку сигарет, где с паршивой подлостью зловещей было мне уведомление: «Курение убивает», и закурил из другой пачки, там хоть сообщалось только о сердечно-лёгочных расстройствах. Количество, конечно, надо сократить, подумал я, закуривая вторую. Нет, я согласен полностью с написанным на той паскудной пачке, и курение, конечно, убивает. Но ведь медленно: со мной оно творит своё убийство уже лет пятьдесят, как не больше. И когда хожу к врачам (порой хожу), то совершенно вне связи с этим пагубным блаженством. Просто созревает в подуставшем организме некое очередное неустройство, и я с прилежностью его лечу. Даже суворовское изречение приспособил в виде утешения: тяжело в лечении, легко в раю.

И тут я вспомнил о приятном: девять месяцев назад, седьмого октября, мне позвонил один читатель мой из Питера. Они с женой под вечер сели выпивать, а чтобы бытовое пьянство в праздник превратить, сообразили вдруг, что отмечают день моего зачатия. О чём немедленно и сообщили мне по телефону. И я польщенно их благодарил.

На пьянке будут произнесены, конечно, разные чувствительные слова, носящие характер поминальных, я от них растрогаюсь и свой любимый тост произнесу (горжусь, что сам когда-то сочинил) – «За благородство, с которым наши жёны переносят своё счастье!». А после все заговорят с соседями по столу, и я спокойно буду пить свой виски – даже Тата в этот день не упрекнёт меня в излишнем употреблении.

А года полтора назад мне выпал шанс приобрести всемирную известность. Историческую, несомненно, ибо ранее такого с авторами не случалось и не будет, хочется надеяться, впоследствии. Я завывал мои стишки в Нью-Йорке, и не где-нибудь, а в концертном зале «Миллениум», на Брайтоне, где публика горячая, поскольку из Одессы и окрестностей её. Набилося там под тысячу смешливого народа, первое отделение мне явно удалось, все кинулись в антракте покупать книги и, конечно, их подписывать. Я стремительно калякаю автографы в фойе на каждом концерте, а что здесь мой стул придвинут вплотную к стене, я как-то не заметил. Обычно первые десять минут зрители шумной беспорядочной толпой напирают на стол, стремясь быстрее надписать свою покупку, я уже привык к такому хаотическому натиску (я даже радуюсь ему), но на этот раз толпа была чересчур обильна, и задние активно поджимали, стремясь протолкаться. Стол мой наклонился, и столешница со страшной силой врезалась куда-то ниже рёбер. Я пытался закричать, но смог издать только хриплый клёкот. Дышать я тоже не мог. Ещё я помню побледневшие и искажённые страхом лица тех, что были около стола – они уже ничего не могли сделать. Ещё минута, и случилось бы событие уникальное: читатели раздавили автора насмерть. Ах, какая у меня была бы слава! Только вдруг на стол вскочил какой-то молодой мужчина и гортанно что-то завопил. Стол немедленно выпрямился, встал на все четыре ножки, я вдохнул немного воздуха и ожил. А мужчина продолжал что-то кричать, можно было с трудом разобрать, что это английский. А ещё двое таких же в строгих костюмах с галстуками уже расталкивали толпу, ко мне пробираясь. Оказалось, что владельцы этого концертного зала держат в охранниках молодых турецких мужчин – то

ли не полагаясь на соплеменников, то ли по причине, что дешевле. Так мне, во всяком случае, объяснил кто-то за сценой. Эти молодые турки, удивлённые такой Ходынкой, и спасли меня от счастья быть раздавленным своими же читателями, лишив несомненно уникальной известности. Даже жаль немного, что уцелел. И тихо продолжаю стариться.

Как дивно я наплакался недавно! Мы с женой ездили в Хайфу, где наша внучка приносила воинскую присягу. На огромный плац торжественным парадным шагом вышло полторы сотни девчушек, выстроились в несколько рядов и сперва выслушали краткую молитву полкового раввина. А может быть, это был просто монолог о доблести библейских предков, я даже не пробовал понять. Я ошалело вертел головой, рассматривая неисчислимое количество родственников, замерших на каменных скамьях амфитеатра, а после стал выискивать глазами свою любимицу в лётной форме (внучка наша попала в военно-воздушные части, что само по себе было предметом гордости). Тем временем какой-то большой воинский чин зачитывал им слова присяги, а они хором повторяли каждый отрывок. Я давно уже рассмотрел внучку, но пока глаза у меня только слабо слезились – очень уж был трогателен и смешон этот девичий строй. Но дальше – каждая из них подходила к группе офицеров, ей вручали винтовку и Библию, а она, прижав книгу к левой груди, громко произносила: «Клянусь!» Я вытер глаза, искоса глянул на скамьи сзади меня (нас было человек восемьсот) и обнаружил множество прослезившихся матерей с отцами, бабушек и дедов. Настала как раз очередь внучки, тут уж я заплакал, не стеснясь. Никогда не подозревал в себе такой сентиментальности. А сразу после церемонии присяги их отпустили в объятия родственников, и огромная толпа расселась на зелёной поляне возле плаца, устроив нечто вроде пикника. Каждая группа обнимала-поглаживала своё сразу повзрослевшее дитя (с винтовками они уже не расставались), уважительно трогала на пилотке значок военно-воздушных сил (внучка очень им уже гордилась и так засовывала пилотку под погон, чтоб он был виден), а главное – старалась пообильней покормить домашними продуктами упорхнувшее чадо. Остальные закусывали прямо на трибунах. Девки сияли! Представляю себе, как их муштровали две недели, обучая маршировать и перестраиваться.

А ощущения совсем иные довелось мне испытать чуть позже – на торжестве обрезания моего младшего внука. Меня как патриарха пригласили быть сандаком – это человек, на коленях которого лежит младенец в то время, как невозмутимо строгий моэль (резник в просторечии) отсекает восьмидневному малышу крайнюю плоть. Я в ужасе хотел было отказаться, но взял себя в руки, уселся на стол (кресла подходящего не оказалось) и твёрдым голосом попросил сына, чтоб меня немедленно окатили холодной водой, если я поплыву от выступившей крови. Все сочувственно засмеялись и обещали. Оказалось всё совсем нестрашно, очень уж подвинулась технология этого ритуала, я изготавился к самой (на мой взгляд) важной части процедуры. Мне рассказали, что за те секунды, что моэль выпрямляется, совершив обрезание, сандак может (и должен) молча произнести про себя пожелания младенцу на предстоящую жизнь – и они сбудутся. К этой важной части торжества я приготовил слов примерно десять, но успел проговорить только три – чтобы он был весёлым, умным и ебливым. Очень уж быстро выпрямился моэль. Но три вполне достойных пожелания-напутствия сказать я всё-таки успел. И очень был собой доволен, что не плюхнулся в обморок от проступившей капельки крови. Так что напился я в тот день с полным и законным основанием.

В день рождения полезно что-нибудь хорошее подумать о себе, и я подумал. Ведь какое счастье, что я начисто лишён зависти, распространённого недуга у так называемых творческих людей. Один приятель рассказал мне очень яркую историю. Он бард, поёт он собственные песни, и как-то оказался на свальном концерте вместе с пятью-шестью такими же умельцами. Сразу же после концерта они уселись выпивать в гримёрке, а он чуть задержался

в зале. И придя к соратникам, сказал с законной гордостью: «Ребята, меня только что сравнили с Высоцким!» За столом наступило угрюмое молчание, он даже не ожидал такой реакции. И пояснил: «Ко мне сейчас подошёл какой-то незнакомый мужик и стал хвалить мои песни. А потом говорит: “Но по сравнению с Высоцким ты говно!”» И как разгладились, как посветлели лица его коллег!

Ну, что ещё необходимо написать в предисловии? А, вот что: из последней поездки я привёз очень существенный признак того, что Путин (наконец-то!) вызывает неприязнь у населения. Пять водителей машин (два таксиста и три левака) в разных городах страны повестнули мне, что на самом деле Путин – еврей. А московский таксист даже рассказал, как в этой связи пострадал Ходорковский. Вот его версия, тут же записанная мной, так что довольно близко к тексту: «Понимаешь, это всё случилось в еврейский праздник Пурим. Они втроём сидели выпивали – Путин, бывший наш мэр города Лужков и Ходорковский. Выпили, о чём-то стали спорить. А горячие все трое! И чего-то Путин возражал, а Ходорковский говорит ему: да ты еврей и рассуждаешь по-еврейски. А такого Путин не прощает никому!»

И я порадовался молча, что хотя бы таким образом у россиян родится понимание.

Каждый раз, приезжая на гастроли и мотаясь по различным городам, я заново радуюсь тому, что Россия ещё вполне жива – несмотря на все усилия её вождей и правителей. И народ российский предаётся своему извечному любимому занятию – оживлённо безмолвствует. Жить во лжи, бессилии и унижении людям очень обидно, и ради душевного покоя и равновесия они как бы не видят, что живут во лжи, бессилии и унижении. К тому же я ведь наблюдаю казовую сторону российской жизни – смеющихся нарядных зрителей, хорошо одетых горожан, вышедших погулять и за покупками, а кошмаров и уродств окраинной жизни, тягот быта и тоску бесправия не вижу вовсе. И мой залётно-фраерский, туристский оптимизм справедливо осуждают в застольных спорах отдельные местные жители. А кстати, очень многие из них – вполне преуспевшие, весьма упакованные люди, и автомобили у них – роскошные гольденвейзеры (марку автомобиля я могу назвать не точно). Они в меру характера то сдержанно, то пылко говорят о царящем в стране разнузданном произволе. О бесправии и множественной нищете, о мздоимстве и бездарной наглости сосущих кровь клопов-чиновников, и многое другое упоённо мне перечисляют. И всё это правда. И притом – безвыходная и безнадежная, что для души ещё потяжелее, чем для разума. Но я, однако, знаю возражения и горячо (по мере выпивания) их выдвигаю. Согласитесь, говорю я вкрадчиво, что сегодняшний феодальный режим всё же намного лучше, чем ещё только вчерашнее рабовладельческое в чистом виде устройство страны. И приметы нынешней свободы тщательно упоминаю. А насчёт того, что по-бандитски всё отлажено, так ведь такие люди нынче у власти, а феодалы того давнего времени были отнюдь не лучше в этом смысле. Так что Россия просто с большим запозданием перешла от рабства к феодализму, а впереди у неё таким образом – разумное и куда светлее будущее. Нельзя же прямо из лагеря (а был ведь чистый лагерь) перейти к почти разумной современности. Отсюда и мой постыдный оптимизм. Тут собеседники мои чуть утихают (хочется мне думать – вспоминая горестные судьбы своих отцов и дедов), а я тем временем закусываю жареной картошкой и солёной рыбой, таково моё любимое меню. И мне немного стыдно за свои невидимые глазу собутыльников розовые иностранные очки. Я помню многое из прочитанного мной о кошмарности жизни в сегодняшней России, о повсюдном гнусном беспределе, об унижительности существования под властью крепко сколоченной огромной мафии. Забавно, что расцветка государственного флага нам об этой мафии напоминает: красный, голубой, белый – а теперь подряд сложите первые буквы. Но об этом лучше вслух не говорить, и дружно все мы переходим на анекдоты, лучшую душевную защиту от реальности.

А теперь – о странствиях моих за два последних года.

Туманный Альбион

О старости я много написал, но вот совсем недавно увидел пример достойного на редкость увядания. Полвека тому назад (да-да, ровно полвека) привёл меня как автора в журнал «Знание – сила» мой недавний в те поры знакомец Лёня Финкельштейн, сотрудник этого известного журнала. Мало кто знал, что отсидел он некогда пять лет в тюрьме и лагере (по пятьдесят восьмой, «за болтовню», как сам он говорил), давно печатался под псевдонимом Л. Владимиров. Мы подружились. В шестьдесят шестом году моя свежееобретённая тёща Лидия Борисовна уезжала с прочими писателями в Лондон, с ними ехал и Лёня. «Посмотрите на эти лица, – тихо сказал я Лидии Борисовне (тактичностью я никогда не отличался), – тут доверять можно только моему приятелю!» Из Лондона вернувшись, моя тёща первым делом радостно сказала: «А ваш Лёня там остался, попросил политического убежища!» С тех пор мы его слушали по Би-би-си и по «Свободе», однажды виделись, когда недолго были в Лондоне, а как-то к нам он приезжал под Новый год, осталось чувство близости, а годы беспощадно тикали. И вот мы в Англии опять, и Лёне восемьдесят семь. И хотя ветхость неизбежная уже его коснулась, он улыбчив, внимателен и несуетно подвижен. Мы с ним съездили в пивную, где туристы редки и случайны – существует это заведение аж с 1520 года, есть легенда, что когда-то здесь частенько сиживал Шекспир (театр «Глобус» был неподалёку), и висит доска со списком королей, которых запросто пережила пивная. Конечно же, и место есть, где сиживал Шекспир, поглядывая искоса на Темзу. А обедали мы в клубе «Атенеум», где такие люди в членстве состояли, что, перечисляя их, вполне законно и естественно помолодел Лёня, приосанился (уже давно он в клубе состоит), и я увидел на мгновение того пижона, каким был он много лет тому назад. И любопытство к миру сохранил он почти прежнее, прекрасный образец старения мы повидали с женой Татой в Лондоне. А к клубу я потом вернусь, поскольку там ещё раз побывал, и спутникам своим уже всё врал как старожил.

Я в Лондон в интересном качестве попал. Все знают анекдот о некоем коте, который был гуляка, ёбарь и все ночи пропадал на чердаках и крышах в поисках любовных приключений. А крепко-накрепко состарившись и одряхлев, по-прежнему проводил ночи вне дома. «Что ты там делаешь?» – спросили его хозяева. «А я теперь консультант!» – ответил кот. Так вот, в Лондон был я приглашён как член жюри международного конкурса поэтов. Писатель Олег Борушко некогда придумал интересную игру – «Пушкин в Британии». Александр Сергеевич, как известно, был наглухо невыездным и не был никогда в Британии, английский слабо знал (читал со словарём), но строчек, связанных с туманным Альбионом, сыскалось у него весьма немало. («Что нужно Лондону, то рано для Москвы», «торгует Лондон щепетильный», «скучая, может быть, над Темзою скупой» и разные другие). На этот фестиваль (уже девятый!) была вынесена строчка – «по гордой лире Альбиона», и желавшие принять участие в турнире должны были одно стихотворение начать этой строкой. Стихи высылались загодя, Олег читал их сам, и творения сотни (как не больше) графоманов сразу же кидал в корзину. Первые четыре таких конкурса Олег финансировал сам (даже дорога частично оплачивалась участникам), деньги находились благодаря его давней и весьма грамотной любви к антиквариату, а потом включилась Россия. Так на мелкие брызги нефтяного извержения празднуется теперь 6 июня в Лондоне день рождения Пушкина. В этот раз приехали сорок поэтов из пятнадцати стран мира. Согласитесь, что внушительная цифра – я о количестве стран, поскольку рад и горд, что русский язык распространяется по миру так стремительно и явно. Это прекрасное следствие кошмарной российской жизни, скажете вы мне, и я немедленно соглашусь. Но радость мою это не уменьшит. А ещё был и турнир переводчиков (не помню точно, сколько их набралось в числе этих сорока), и три старых английских

поэта впервые обрели звучание на русском языке. Тут надо отдать должное вкусу Олега: стихи читались не только в Пушкинском доме (есть в Лондоне такое заведение), но и в старинной церкви Сент-Джайлс. Она частично сохранилась чуть ли не с семнадцатого века, и забавно, что её так и называют: «церковь поэтов». Прихожанами её были Байрон, Мильтон, Шелли, тут похоронены переводчик Гомера (имя не записал), Даниель Дефо и Оливер Кромвель, просто не называю нескольких других со столь же звучными именами. Всё это рассказывал мне настоятель церкви, явно пламенный патриот своего прихода, так что достоверность не гарантирую. А как раз когда в церкви этой читались стихи, был день кормёжки бомжей, и они сошлись со всей округи. А мы, кто курит, выходили покурить и, видит бог, не слишком отличались от нахлынувших бездомных. Часть из них явилась с выпивкой, украдкой поддавая под еду, у нас с собой, конечно, тоже было, так что очень интересная толпа собралась в тот день у знаменитой церкви, молча радовалась ей моя беспутная душа. И тени тех, кто посещал эту церковь в разные века, на нас смотрели с безусловным одобрением. А ещё несколько молодых бомжей покуривали травку за углом, и сладковатый запах анаши витал над этим дивным сборищем. Все бомжи расплатятся за это угощение сидением на субботней проповеди, а пииты – вольные птахи – почирикали и разлетелись. Вечером, конечно, пили уже вдоволь, Пушкин получил бы удовольствие от такого дня рождения своего.

Теперь об Англии немного. Был у меня родственник (со стороны жены, но не родня и ей, а по замужеству сестры), талантлив был и рьяный англоман, хотя английского не знал. Так вот на каждой пьянке он вставал и говорил торжественно и громко: «Здоровье Её Величества Королевы Английской! Мужчины пьют стоя!» А я хотя и выпивал (уж очень это глупо – рюмку упустить), однако не вставал. Скорее из упрямства и по вредности характера, чем по идейной непреклонности какой. Но вот сегодня, вдоволь начитавшись, как подло вела себя Англия с евреями (перечислять не место и не хочется), я рад о том упрямстве вспомнить невзначай. А кстати, мой любимый Черчилль был один из очень немногих, кто этой подлости (весьма разнообразной) противостоял, насколько мог. И я в этот приезд услышал с радостью легенду (проверить, естественно, не стал), что памятник ему – единственный из памятников в городе, на который не гадят голуби. Как видно, тоже уважают. Только есть два неких факта, которые не могу не упомянуть. Об одном из них я узнал сравнительно недавно (по глубинному невежеству, естественно), а факт второй с ним оказался в некой смысловой рифме. С удовольствием я оба тут и изложу.

Летом 1215 года король Иоанн Безземельный был вынужден под давлением восставших баронов подписать удивительный документ – Великую Хартию вольностей. Это был, как точно кто-то сформулировал, краеугольный камень будущей английской свободы и демократии. Это была гарантия прав человека и уважения к личности. Да, конечно, это сперва относилось только к так называемым свободным сословиям: баронам, церкви и купцам. Но из этого вытекало главенство закона, а не мановения монаршей руки. Из этого являлась возможность контроля над королевской властью. И много всякого другого, постепенно превратившего Англию в страну, какой она является сегодня. А знаменитая американская Декларация независимости спустя несколько веков произошла отсюда же. Речь шла о свободе человека и неотъемлемых его правах.

И одновременно почти что – летом 1206 года – на курултае всех монгольских князей, объединившихся под властью Чингисхана, была оглашена так называемая Великая Яса (оцените совпадение эпитетов). Это был свод законов, напроць отдающих любого человека в полную власть верховного хана. Это был огромный перечень запретов и наказаний за их нарушение. Подлинник того закабаления не сохранился, к сожалению, но множество отрывков и комментариев дают достаточное представление об истинно великом документе.

Так и пошло с тех пор развитие Запада и Востока, а который из путей выбрала Россия, ясно видно и сегодня. Тут-то мне как раз и пригодится факт второй, донельзя мелкий рядом с первым, но на редкость показательный. Как раз в тот год, когда в России отменили крепостное рабство, в Лондоне пустили первую линию метро.

И клуб «Атенеум», над порталом которого стоит огромная позолоченная Афина, – такое же следствие английской свободы. Его учинили в начале позапрошлого века как клуб интеллектуалов, и первым его секретарём был Фарадей (да, да, тот самый). Предназначался этот клуб для тех английских джентльменов, которые внесли заметный интеллектуальный вклад в развитие человечества. Или же (замечательное послабление, по-моему) ещё только подавали веские надежды, что внесут. Одним словом, отсекалось множество людей торгового и всякого коммерческого успеха. «Нет, и таких сейчас полно в клубе, – повестнул нам Лёня, – только они ещё известны и другими проявлениями своей богатой натуры». Из просторного фойе широким маршем уходила лестница на второй этаж («Вот тут внизу когда-то помирились Диккенс с Теккереем», – буднично сказал нам Лёня, и облако высокого блаженства окутало мою седую душу). Но мы пока ушли направо. «Это как бы утренняя комната», – пояснил нам Лёня назначение большого зала, сплошь уставленного креслами и разными диванами (а рядом – небольшие столики, естественно). Тут можно было почитать свежие газеты (их ассортимент весьма велик), выпить чая или кофе – бармен за небольшой стойкой находился тут же безотлучно и ничуть не удивился, что незнакомый иностранный гость с утра заказал виски. И тут на нас посыпались такие имена сидевших в этой комнате людей, что ясно было: кто-нибудь из них, а то и многие, возможно, сживали в кресле, на котором я сейчас прихлёбываю виски без содовой и льда (был спрошен – отказался, я дикарь). Здесь Дарвин мог сидеть (нет, кресла больно современные), мог Жюль Ренар, Бертран Рассел, Голсуорси или Черчилль. Господи, даже Черчилль! А что, вполне широкое кресло. «Лёня, – взмолился я, – только не привирай, ведь я это непременно опишу, не выстави меня наивным мудаком, каким на самом деле я являюсь!» «Да ты что, – ответил Лёня чуть надменно, – я вот именно за этим столиком не раз сидел с Исайей Берлиным, мы были приятели». Тут я задохнулся от восхищения и вспомнил: Лёня ведь уехал так давно, что успел ещё пообщаться с самим Керенским, просто-напросто пил с ним коньяк и наверняка постеснялся спросить у ветхого старикана, как он так просрал Россию. Потом мы поднялись по лестнице вверх, где в зале возле библиотеки традиционно пьют кофе, и там на специальной стойке полистал я толстенную в кожаной обложке книгу с перечнем нобелевских лауреатов, членов клуба «Атенеум». Каждому – страница текста и большая фотография. И тут я вовсе присмирел, и снова очень выпить захотелось. Весьма солидная батарея разных бутылок аккуратно выстроилась около кофейного автомата, как некое воинское подразделение, и, плеснув себе виски, я мельком подумал о заманчивой попытке в этот клуб вступить. Из кофейного зала был выход на балкон, и я недолго покурил у пыльных ног позолоченной Афины. «Клуб, – рассеянно думал я, глядя на бродящую внизу толпу туристов, – это знак особенности, причастности к некой касте, и неважно – это клуб автомобилистов (он тут рядом) или горнолыжников, к примеру. Но такой, как этот, – штука уникальная, конечно...» Да, я забыл одну деталь: сюда являться можно только в пиджаке и с галстуком. Последний раз пиджак носил я (но недолго) лет пятьдесят тому назад, сейчас я был в пиджаке и при галстукке, предусмотрительно привезенными Лёней, и ощущал себя словно Иван Сусанин на приёме у чванливых польских панов – может быть, отсюда и проистекало моё слегка плебейское восхищение. Словом, было мне там хорошо и необычно. Спасибо тебе, Лёня, старый друг, думал я расслабленно и сентиментально. С виски мне куда стоит погодить, спохватился я, поймав себя на этих чувствах. А после мы обедали в донельзя чинном ресторане на первом этаже, и Лёня нам продемонстрировал ещё одну чисто джентльменскую подробность: в листках нашего меню не было цен на разные блюда, а у Лёни они были, потому что гости тут платить

не могут, платит только пригласивший их член клуба. Меня эта деталь весьма растрогала (вино было бургундское и пилося очень хорошо).

Оттуда мы поехали в дом Пушкина слушать графоманов разной меры одарённости. Порою были и хорошие стихи. Я слушал с чрезвычайнейшим вниманием, не зная, что два дня спустя меня постигнет в этом доме удивительный конфуз. Мне сообщили, что я должен провести мастер-класс и что многие из этих поэтов ко мне записались. Чтоб я так жил, как я не знаю, что такое мастер-класс (сказала бы, наверно, моя бабушка), но уронить своё достоинство седого мэтра не отважился и удручённо покивал. Жена пошла со мной и молчаливой очевидицей была позора мужа. Когда явились мы в маленькую классную комнату, уже на стульях и столах сидело человек двадцать, собравшихся услышать матёрые суждения о поэтическом мастерстве. Ни единой мысли не было у меня по этому поводу. Умело скрыв и робость, и растерянность, я бодрым голосом спросил у этих подмастерьев, что они читали из поэтов прошлых и сегодняшних. Посыпались стандартные классические имена. «А что из этого вы знаете наизусть?» – спросил я. И три девицы, запинаясь, что-то прочитали. Остальные слушали угрюмо, недоумевая, почему я им не раскрываю никаких секретов стихотворчества, а пристаю с занудными и глупыми вопросами. И тут меня прорвало, потому что очень сделалось обидно за незнаемых этими людьми их предшественников. Я стал читать им всё, что помнил. Неопишуемую смесь из Саши Чёрного и Веры Инбер (молодой и удивительной в ту пору), питерских поэтов шестидесятых годов, я даже Симонова им прочёл поэму про «крепость Петропавловск на Камчатке» – видел я по лицам и глазам, что большинства этих стихов они не знали. Моего запаса приблизительно на час хватило. А после я сказал им главное, что относилось к мастерству: поэзию российскую необходимо знать, только тогда можно найти свою дорогу. Тут я подумал о самоучках типа Кольцова и Есенина, и пафос мой немедленно угас. Поэты расходились с недовольством, явственно читавшимся на их одухотворённых лицах, но никто меня никак не попрекнул. И лишь назавтра устроитель этого прекрасного базара у меня спросил с издевкой:

– Вы вчера, Игорь Миронович, всех укоряли, говорят, за незнание стихов Тредиаковского?

– И Хемницера с Херасковым, – смиренно ответил я.

А стихи я, между прочим, им читал отменные, ей-богу, мог ведь и свои весь час им завывать – куда бы они делись, бедные?

А ещё возили нас в Кембридж, там состоялся турнир на звание короля поэтов – судила собравшаяся публика. Автобус ждал нас на набережной, так что мы немного погуляли по тому её прекрасному отрезку, где лежат египетские сфинксы. Я немного постоял возле просторного, весьма уместного сортира, где бесчисленные толпы туристов избывают восхищение великим городом. Я там остановился покурить, поскольку вспомнил, как недавно ехал я с приятелем по Украине, и тормознулись мы на симпатичном придорожном рынке, где полно было ларьков с продуктами и около десятка некрупных забегаловок, сочившихся чадным ароматом жареного мяса. Там несколько в стороне был и сортир (конечно, платный) – неказистый домик, наскоро воздвигнутый из каких-то чахлах бетонных плит и наспех кое-как оштукатуренный. Вся прелесть состояла в том, что буквально в нескольких метрах позади него росло здание частного дома, шёл уже второй этаж. Какой-то умный и смекалистый предприниматель купил небольшой участок земли (отсюда тесная близость стройки и сортира), и скорость возведения этого дома явно зависела от сортирных доходов. А народу много оставалось тут, помимо легковых машин стояли грузовые фуры, место было донельзя удобным для привала в длительном пути. И я стоял, куря и размышляя, как легко и быстро сотни проезжающих людей насрали этот особняк его сметливому владельцу.

А ещё я почему-то вспомнил, почти бегом пересекая оживлённое шоссе вдоль набережной, как мне в девятом классе подарили долгожданный велосипед. И спустя дня три к матери моей пришла соседка Вера Абрамовна (подпольный зубной врач) – пришла, почти с порога закричав: «Эмилия, сейчас я видела: по Ленинградскому шоссе едет на велосипеде твой Гарик, а за ним вплотную гонится троллейбус!»

Но я отвлёкся, как всегда. А в Кембридже сбежали мы с женой от катания на лодках, чтобы навестить великого, на мой взгляд, человека, которому Россия поломала жизнь (двенадцать лет он отсидел в тюрьме и психушке), а после просто выгнала его, обменяв, как барин – крепостного, на какого-то захудалого секретаря захудалой чилийской компартии. А кстати, этот секретарь потом обратно запросился и уехал, а Володя Буковский навсегда остался в Англии. Он кончил университет, работал там как нейрофизиолог, но у человека этого – ум государственного мужа, потому и вызвал его некогда Ельцин, собираясь учинить процесс о преступлениях компартии. А после испугался продолжать (совсем иной сложилась бы судьба сегодняшней России), и Буковский возвратился в Кембридж. И там составил, мне было очень больно это видеть. Я честно объяснил ему, что познакомиться хотел не только из-за восхищения его умом и стойкостью, но и затем, чтобы иметь возможность хвастаться, что через одного пожимал руку Маргарет Тэтчер. Он ответил: а английской королеве, а президенту Соединённых Штатов? И мы сели пить отменный виски, кто-то из доброжелателей (десятки их, если не сотни) ему принёс. О разном говорили, но одну из его фраз я записал на подвернувшейся салфетке. Потому что речь зашла об оппозиции российской, о выходе людей на Триумфальную площадь тридцать первого числа каждого месяца и о разгоне этой кучки демонстрантов. «Какая это оппозиция? – брезгливо возразил Буковский. – Оппозиция – это ведь не менструация, – добавил он, – она не ежемесячной должна быть, а постоянной, только так и водится в нормальном государстве».

Сидели мы недолго, а теперь, когда я вспоминаю Англию, то не Биг-Бен встаёт у меня перед глазами, а этот полный и состарившийся человек, ум и совесть которого могли бы столько пользы принести России, что об этом лучше и не думать.

Города и годы

Да читал, читал я книгу Константина Федина с этим названием. Но у него литература художественная (была в ту пору), у меня же – никакая. А заимствовать слова, которые мне впору и годятся, – дело справедливое и верное.

В каждом почти городе я натыкаюсь на какую-нибудь мелкую историю, которая переполняет меня радостью: хотя бы ради этого не жаль было потратить месяц странствий, думаю я всякий раз. В Биробиджане, например, в музее, посвящённом тому краткому еврейскому переселению (всё было как всегда: обманные посулы и немыслимые тяготы), я вдруг увидел совершенно там нехстати пребывавшую книгу оголтелого и яркого марксиста двадцатых годов Абрама Деборина (кажется, это была «Философия и марксизм»).

– А это здесь при чём? – спросил я удивлённо.

– А вы её раскройте, – торжествующе сказала хранительница музея.

Я брезгливо отвернул обложку. Внутри была одна из книг Талмуда, и ровные строки иврита освежающе напомнили мне о жестковости и хитроумии нашего народа.

А в Калининграде я услышал неизвестную мне фразу покойного Черномырдина, памятного всем отнюдь не государственным умом, а дивными по несуразности изречениями (моё любимое: «Никогда этого не было, а вот опять»). В Калининграде в честь его приезда учинили большую выпивку, официант налил ему виски и спросил, не кинуть ли льда. Черномырдин на него надменно глянул и сказал:

– Если бы виски пили со льдом, то его бы так и продавали.

А в Новокузнецке, рассказали мне, мэр города весьма следит за чистотой. И каждый день, везя в детский сад своего пятилетнего сына, объезжает несколько улиц, ревизуя их убранность. Одна из улиц оказалась как-то с кучами лежалого мусора. Увидев это безобразие, мэр сурово нахмурился, а его пятилетний сын заботливо спросил: «Папа, кого ебать будем?»

Но хватит анекдотов (как они, однако, украшают нашу жизнь!), лучше расскажу я о нескольких замечательных городах, которым обязан очень разными существенными впечатлениями.

История довольно часто учиняет шутки, которых мы не замечаем, что весьма разумно, ибо на фиг отравлять душевный оптимизм, и так всё время дышащий на ладан. О городе Новокузнецке я знал ещё с раннего школьного времени, когда с ума сходил от Маяковского. Его знаменитое стихотворение «Рассказ о Кузнецкстрое и людях Кузнецка» знал я наизусть и даже упоённо завывал на каком-то школьном вечере. С особенным накалом я читал последние строки: «Я знаю – город будет, я знаю – саду цвести, когда такие люди в стране советской есть!» А строки предыдущие я лучше перескажу своими словами – для тех, кто не помнит этот стих, написанный за год до самоубийства. Там под старой телегой лежат рабочие, и слышен их гордый шёпот: через четыре года здесь будет город-сад. А далее – свинцово темнеет ночь, бьют оземь толстые, как жгут, струи дождя, рабочие сидят уже в грязи, но губы, посиневшие от холода, шепчут всё то же: через четыре года здесь будет город-сад. Потом опять вокруг промозгло и сыро, и рабочие сидят уже впотьмах, жуют мокрый хлеб, но шёпот громче голода: здесь будет город-сад. Все слова, приведенные здесь, – из стиха, я просто изложил их прозой. Почему я тогда был в восторге, почему не ужаснулся? Но об этой нашей общей слепоте уже написаны тома бессильных (хоть и не напрасных) размышлений. Кузнецкий металлургический комбинат, как и ещё пятьсот таких же промышленных гигантов, – гордость советской индустрии, строился по проекту некой американской фирмы. А руками – нет, отнюдь не комсомольцев и других энтузиастов, как надсаживались в голос все газеты и журналы. Столь же, кстати, упоённо, как упомянутый выше восторженный сопляк. Стро-

или его спецпоселенцы, крестьяне, согнанные со своей земли за то, что слишком хорошо там жили и работали. Кулаки и подкулачники, становой хребет сельскохозяйственной России. Их вырвали из деревень и, как скотину, в товарных вагонах перевозили в Сибирь, на Крайний Север и Дальний Восток. Количество погибших в пути и на местах по сю пору точно неизвестно. А всего их было около двух миллионов. Советская власть очень быстро ощутила выгоды рабского труда. (А кстати – для фанатов Троцкого: он планировал такими трудармиями покрыть всю страну.)

В Новокузнецке высится огромный чугунный памятник Маяковскому – как бы благодарность за это стихотворение об озарённом энтузиазме строителей. Но Маяковский никогда там не был. Ему об этой стройке рассказал некий Ян Хренов, и сначала стих так и назывался – «Рассказ Хренова о Кузнецке и людях Кузнецка». Я читал его уже без этого имени. Потому что в тридцатых Яна Хренова посадили. Но об этом чуть позже. Тут забавно, что и сам Хренов был в Кузнецке очень мало: он занимался в Москве какими-то профсоюзными делами и на стройку приезжал организовывать что-то ударное. И даже написал о Кузнецкстрое восхищённую брошюру, где поместил по случаю фотографии строителей. Две из них я видел. Какие там комсомольцы! С фотографий смотрят два типичнейших крестьянских лица, измождённых и твердокаменных. Лет сорок пять этим строителям-энтузиастам, вот кто мог бы многое рассказать, но уж давно они молчат, как угрюмо молчали в те страшные годы рабского труда вручную (всякая техника пришла из Америки много позже).

Хренова посадили, обвинив в троцкизме, и на Колыму он несколько суток плыл в одном трюме с Шаламовым. В памяти писателя сохранился чуть оплывший человек с чисто тюремной зеленоватой бледностью лица, не расстававшийся с красным томиком Маяковского, где он с гордостью показывал желающим стих о Кузнецке и дарственную надпись поэта. Можно себе представить, насколько это было интересно населению пароходного трюма. А на Колыме, однако, он выжил, ибо как сердечник числился в команде инвалидов. Мне легенду рассказали, когда пили мы в Новокузнецке после концерта, что как будто лагерные надзиратели его порой по пьянке призывали и приказывали читать этот стих. Где-то там и умер он, дожив до освобождения и там оставшись. Вот кому я поставил бы памятник и школьников туда водил, чтоб помнили историю родины. А город-сад разросся, стал Новокузнецком (долгое время был он Сталинском), обзавёлся ещё множеством заводов и ныне числится в первой пятёрке российских городов, атмосфера которых сильно вредна для жизни из-за выброса в воздух города всяких ядовитых веществ. Особенно в районе комбината. «Мы дышим всей таблицей Менделеева», – хвастливо сказал мне сосед по застолью.

Так удачно совместились время и маршруты, что я смог заехать в город Чистополь – и вовсе не по выступательному делу. Этот небольшой и тихий городок на Каме некогда был широко известен своей торговлей зерном и щедрой филантропией разбогатевших купцов. Потом два раза жуткий голод пережила эта зерновая и мучная столица края (в двадцать первом и сорок шестом – до людоедства доходило), но так поныне и остался город симпатичной двухэтажной провинцией. А на исходе сорок первого года обрушилась на Чистополь волна эвакуации: бегущих от немецкого нашествия было несколько десятков тысяч, а в их числе оказалось около трёхсот писателей, вывезенных из Москвы как государственная ценность. Нет, там были и другие интересные люди: например, зэки из Бутырской и Таганской тюрем, но тех держали в городском храме, выстроив трёхъярусные нары, и про них известно мало. А приезд толпы писателей (да плюс ещё две тысячи членов семей) изрядно освежил прозябание невидного города. Одна история с Леонидом Леоновым чего стоит: отстояв на рынке очередь за мёдом, он купил всю бочку, это вспоминают до сих пор, все цены вмиг на рынке сильно подскочили. Множество невиданных в городе нарядов и украшений нанесли на рынок московские женщины, чтобы менять их на продовольствие, в Доме учи-

теля возникли литературные чтения. Ни к чему перечислять имена замечательных и никудышных литераторов, но нескольких имён не миновать, поскольку прибыли сюда среди прочих Пастернак и Ахматова. Впрочем, Ахматова вскоре уехала в Ташкент, а Пастернак прожил года полтора, сейчас тут музей его имени, я из-за этого сюда и рвался. Нет, нет, я вовсе не фанат великого поэта, но я здесь побывал года два назад, и от научного сотрудника музея столько услышал, что мечтал поговорить ещё раз. Особенно хотел я оснастить деталями историю, которую условно я назвал бы так: «На что пускается писатель, чтоб собрать материал». Рафаил Хисамов, полноватый и улыбчивый мужчина лет шестидесяти, знает не только всё о Пастернаке и множестве советских авторов (начитан он невероятно), но и про жителей города знает чрезвычайно много. Если к этому прибавить явный ум и чисто человеческую симпатичность, то меня можно понять: ещё задолго до застолья я накинусь на него, требуя, чтоб он о городе большую книгу написал. Тем более что заведомо было ясно её прекрасное название: «Чистополь как текст». Так назвал свою книгу один замечательный пермский автор («Пермь как текст»), а это ведь большая редкость, чтоб название немедленно и полностью определяло содержание всей книги. Рафаил Хисамов, человек тактичный и вежливый (бывший школьный учитель), не послал меня сразу по заслуженному мной адресу, а обещал подумать. Я, кстати сказать, в этот второй приезд его предупредил, что напишу о его невероятной осведомлённости и его примутся теребить все, кто прочитает мой донос. Надеюсь, что угроза подстегнёт его. А теперь – история, которую давно хотел я рассказать.

Первые дни по приезде Пастернак мыкался в поисках жилья: в казённой комнате, где с двумя сыновьями жила его жена, сестра-хозяйка в детском интернате, он поселиться не мог. Ночевал он в Доме крестьянина, клоповнике с нарами и соломой, но помог счастливый случай: встретил он на улице поэта Переца Маркиша, тот уезжал в Ташкент и предложил ему свою комнату. Так оказался он в девятиметровой комнатухе, где ныне – центр музея. В комнатухе – однотумбовый конторский стол, два деревянных стула, шкафчик, кровать и кушетка. Царские по тому времени апартаменты. И только постоянно было холодно, печное тепло проникало сюда плохо, и к утру замерзали даже чернила в чернильнице, приходилось писать чернильным карандашом, слюнявя грифель. Чтобы согреться, он открывал дверь на кухню (так уж была расположена комната), но там гудели непрерывно три примуса и патефон почти без остановки исполнял любимую песню хозяйки «У самовара я и моя Маша». А Пастернак заканчивал (как раз, хотел я было написать) перевод шекспировского «Гамлета» и начинал переводить «Антония и Клеопатру». Почему-то у меня записано, что «Ромео и Джульетту» тоже там переводил, да ладно – пусть меня бранят его биографы.

В музее нынче три ценности, принадлежавшие ему лично: подстаканник, чернильница и пальто (последнее привезено уже из Москвы – подарок сына). И естественно, стоит там керосиновая лампа, у него была такая же, писателям по литру в месяц отпускали керосин, на электричество надежды было мало. И ещё висит там чёрная картонная тарелка репродуктора – единственный источник информации. Да, и пишущая есть машинка (подарил Сельвинский, кажется), но он этот прекрасный механизм освоить так и не сумел. Пастернак был, кстати, очень добросовестным жильцом: таскал дрова, носил ведрами воду (в те часы, когда работали колонки) и периодически вычищал нужник во дворе, о чём писал в беспечных своих письмах. А ещё он то же самое делал и в интернате, как бы отрабатывая ту еду, что приносила ему оттуда жена.

И в этой интересной распрекрасной жизни (так он сам о ней отзывался) некое возникло обстоятельство. Ему коллеги стали намекать и прямо говорить, что на дворе – кошмарная война, а он укрылся с головой в Шекспире и никак не откликается на всенародное и героическое бедствие. Особенно усердствовал Фадеев, наезжавший изредка в Чистополь. Слова этого всевластного среди писателей человека прозвучать впустую не могли. И тут ему явилась дивная идея. Хозяин квартиры, некий Василий Андреевич Вавилов, служил во время

Гражданской войны в огромном партизанском корпусе. Потом был ранен, что спасло его от верной смерти, после кончил курсы счетоводов и работал тихо-мирно мелким банковским служащим. В годы большого террора прихватили и его, но родственники собрали килограмм золота (цепочки, кольца и монеты), и следователь на это купился: Вавилова не только отпустили, но и на работу приняли обратно. Боевое прошлое кипело в памяти Вавилова, а тут нашёлся прямо в доме благодарный и понятливый слушатель. По вечерам являлся счетовод Вавилов в комнатушку Пастернака, приносил бутылку технического спирта и картофельные оладьи, жаренные на касторовом масле, и после первой же рюмки затевал пространное повествование. Жилец ему внимал с горячим интересом и активно переспрашивал. Помните партизанский отряд, куда попал доктор Живаго? Но теперь необходимо пояснить насчёт технического спирта. Это ведь этиловый, то есть вполне питьевой спирт, но именно поэтому, чтоб россиян, охочих до спиртного, он не мог соблазнять, в него добавлялось некое количество отравных компонентов (в том числе и керосин), а также сине-фиолетовый краситель, отчего и выглядел тот спирт необычайно ядовито. О запахе и вкусе лучше просто промолчать. Но кого это могло остановить? Тем более что его как-то наловчились малость очищать. А как на Пастернака действовал этот освежающий напиток, рассказала много позже жена Вавилова. С нескрываемым презрением к жильцу-мерехлюнднику: «Мой утром галстук повяжет и на работу как ни в чём не бывало, а Борис ваш целый день блюёт и моется, блюёт и моется!» Но шли рассказы о войне, это огромной было жизненной удачей. Пастернак задумал пьесу, и начало её написал очень быстро. Первый акт был весьма современен: из небольшого подмосковного городка только что отступили советские войска, вот-вот сюда войдут немецкие. И тут один интеллигент, совсем недавно отсидевший срок по страшной пятьдесят восьмой статье (не могу не поставить здесь восклицательный знак!), затевает некое патристическое дело: призывает всех сограждан соединиться в партизанское ополчение, чтоб оказать врагу достойный отпор. Людей, не склонных воевать за советскую власть, он убеждает в том, что после войны весь строй страны изменится, нельзя же полагать, что и потом продлится этот унижительный страх арестов и бесправие. Останется навеки неизвестным, как реагировали сограждане на речи того горячего интеллигента с пятьдесят восьмой статьёй за плечами, но первые же слушатели пьесы (Пастернак пригласил нескольких коллег, имён их не знаю) наверняка ощутили знойное дыхание этой статьи за своими сутулыми спинами. Но они промолчали, автор только был немного удивлён полным отсутствием одобрения и уклончивыми словами о неопределённости продолжения пьесы. Точку в этой творческой истории поставил Фадеев, которому был тоже прочитан первый акт. «Ты в тюрьму собрался или в лагерь? – грозно и угрюмо спросил Фадеев. И продолжил: – Всё это сожги немедленно». И Пастернак послушно внял совету сведушего человека. Начатая пьеса сгорела в печи, осталось по случайности лишь несколько листков. А там – фамилии и имена героев пьесы – те же, что вскоре стали героями «Доктора Живаго». Так что Пастернак не зря стоически переносил тяготы отвратной выпивки и муки похмелья.

Но Чистополь неожиданно преподнёс мне ещё один подарок. Я полез в Интернет что-то уточнить о городе и обратил внимание случайно на рубрику «Известные люди». Такую главку пишут краеведы о каждом городе, как бы гордясь когда-то проживавшими здесь (или родившимися тут) известными личностями. Конечно, в этом списке была Ахматова, хотя и пробыла она всего недели три, была Цветаева – два или три дня прожила она в городе, безуспешно пытаясь найти жильё и работу. (Она хотела устроиться посудомойкой в писательскую столовую, но глухо воспротивились писатели, а главное – их жёны, им было бы неуютно от такого соседства. И она уехала обратно. До часа полного последнего отчаянья оставалось три дня.) Здесь были имена замечательных поэтов: Тарковского, Марии Петровых, Асеева. Но главное – что здесь рядом с Героями Советского Союза, футболистами и знаменитыми учёными были названы имена людей, которые сидели в Чистопольской тюрьме и

тюремно-психиатрической больнице (одной из полутора десятков в той империи). Они тоже, таким образом, оказывались именитыми жителями города. Зачислять наказанных тюрьмой изгоев в горделивый список местных знаменитостей – идея потрясающе плодотворная. «Вот бы так в каждом городе!» – с надеждой подумал я и поискал другие города, где этот список мог быть очень впечатляющим. Нет, ничего подобного нигде не было. В Норильске вообще вместо такого перечня (а там какие побывали люди за колючей проволокой зоны!) помещался список городских властей за много лет. Только в Калуге среди «известных горожан» числился Лжедмитрий Второй, его жена Мария Юрьевна Мнишек и сын их Иван Ворёнок. И я разочарованно вернулся в Чистополь.

В городском почётном списке числился наш израильский герой Натан Щаранский (сидел он там в изоляторе для политзаключённых). Там же был означен Анатолий Корягин, врач-психиатр, посаженный в конце семидесятых за объективную экспертизу людей, осуждённых на принудительное лечение в тюремных психбольницах, а на самом деле – совершенно здоровых. Эти данные он ещё отважился передавать в иностранные правозащитные организации. А ещё в местной психушке содержался Порфирий Корнеевич Иванов, о котором я, к стыду своему, ничего раньше не знал, а о нём и книги написаны, и фильмы сняты. Я полагаю, что подобно мне и многие другие мало о нём знают, и поэтому чуть отвлекусь на судьбу незаурядного человека. А что он был больным – не думаю, он был другим и необычным, этого в советской империи не терпели.

А в молодости был обычным и типичным: пил, курил, дрался и спустя рукава работал. Обзавёлся семьёй, двух сыновей родил, чуть посидел за какое-то мелкое мошенничество – нормальнейший советский человек. Но в 35-м году (а было ему 37 лет) окончательно завладела им идея, что напрасно мы живём в тепле и сытости, мы от природы отрываемся, отсюда все наши болезни. Стал ходить он босиком и почти голый – только в длинных трусах (их для приличия именовали шортами в бесчисленных жизнеописаниях). Непрерывно обливался ледяной водой, подолгу обходился без пищи и питья. Естественно, что через год его уже обследовали психиатры в городе Ростове. Шизофрения. Инвалид. И даже справку дали. Эта справка спасла его год спустя, когда его арестовали в Москве на Красной площади. Приехал, чтобы лично Сталину что-то пояснить насчёт Гитлера. Спустя два месяца его отпустили. Ещё через год его арестовали в городе Моздоке, на этот раз уже как диверсанта (почти что голый человек в одних трусах – конечно, диверсант). Опять помогла справка и объяснения о прикосновении к природе. Учинили ему тут научную проверку: на морозе обливали ледяной водой. А у него от этого лишь повышалось настроение. И тоже отпустили. На войну его не призывали (инвалид), но при немцах он ухитрился повидаться с самим Паулюсом, получив от него (за личной подписью!) записку на немецком языке, что случай этот «представляет интерес для мировой науки». Я за достоверность не ручаюсь, документ не видел, только интересно, что гестаповцы поступили точно как чекисты: проверяли его, закапывая голого в снег и катая по морозу в мотоцикле на большой скорости. Снова арестовали его в Москве в пятьдесят первом году, и тут уже грозила страшная пятьдесят восьмая за антисоветскую агитацию: всем желающим подряд он говорил, что советские люди много болеют из-за неправильной жизни. И хотя он имел в виду их одетость в тёплую одежду, оскорбление передового строя было налицо. И прошёл он три психушки (Питер, Чистополь, Казань) – в каждой почти по году. И ведь снова отпустили! Только было у него уже столько учеников и последователей, что спустя десять лет его опять засадили на четыре года – исследовали. Словом, всего провёл он в изоляции двенадцать лет. А в семьдесят восьмом явил убедительный эксперимент: пять месяцев прожил без пищи, большую часть этого срока – без воды. А умер Порфирий Иванов восьмидесяти пяти лет и никогда не болел. А множество людей – удачно исцелял. Что же мы, вульгарные материалисты, сказать на это можем? Ничего. Только руками развести или пожать плечами. Идеи все его нехитрые и жизнь сама восточные рели-

гиозные учения чем-то напоминают, только жил он в России, оттого и мыкался по психушкам. Словом, Чистополь справедливо гордится, что мучения свои этот незаурядный человек и тут проходил.

Но крепко я, однако, отвлёкся. Просто очень легко излагать своими словами только что прочитанное в Интернете. Но правда же, удивительный пророк и учитель? Представляю себе, как ненавистен он церковным деятелям – ведь ничего евангелического нет в его житейских наставлениях.

И буду навсегда я благодарен составителям списка известных людей города – за внесение в этот перечень истинного героя семидесятых годов – почти забытого ныне Анатолия Марченко. Героизм – это всегда безрассудство, особенно напрасный героизм, но подвиг всё равно остаётся подвигом. А Марченко отдал свою жизнь во имя освобождения всех политзаключённых империи. Родился он в семье помощника машиниста паровоза и вокзальной уборщицы, так что жизнь ему предстояла вполне типичная. Но смутное неутраченное беспокойство жило в нём, и то мотался он по стройкам коммунизма, то бродяжничал с геологами, ни к чему не чувствуя призвания. Сел за драку в общежитии (в ней не участвуя), спустя год ухитрился сбежать и год скрывался, не зная, что в лагерь пришла бумага о его освобождении. Понимая, что всё равно найдут, попытался где-то на юге перейти границу, схвачен был и получил шесть лет тюрьмы – за «измену родине». Тут ожидал его огромный умственный переворот, ибо попал он в среду политзаключённых. Он столько насмотрелся и наслушался, он столько начитался (даже Ленина с усердием одолевал, надеясь что-нибудь понять в беде российской), что вышел в шестьдесят шестом году и образованным весьма, и диссидентом в полном смысле этого несложного по сути слова. Означает оно просто инакомыслие, и возникло лет пятьсот назад в религиозных разногласиях англичан того времени. Это в России стало оно звучать грозно и однозначно: «несогласный». С заведомо непогрешимой линией партии. А Марченко повезло: в конце своего срока он подружился с Юлием Даниэлем. А весомость и проникновенность слов и суждений этого заведомо доброжелательного, очень лёгкого в общении человека автор сей книги ощутил когда-то лично и не раз. Дружбе с Даниэлем и обязан Марченко знакомством с людьми, которые прочно-напрочно определили всю его дальнейшую жизнь. После работал он грузчиком в городе Александрове, а спустя всего год явилась в свет его великая книга – «Мои показания». Её перевели на много языков, и как-то сразу стало ясно, что отныне автор обречён. Ещё через год он написал открытое письмо о возможности преступного и подлого вторжения в Чехословакию – за месяц до этого преступного и подлого вторжения. Арестовали его как раз в тот день, когда в Прагу вошли танки. За якобы нарушение паспортного режима арестовав и давши год всего, немедленно спохватились гончие, и в лагере он получил новый срок – уже за распространение клеветнических измышлений. Но он отбыл и это заключение. Посланцы от всевидящего ока стали понуждать его уехать – он ведь уже некогда хотел это сделать, щедро сыпались угрозы. Только Марченко обрёл смысл жизни. Новый срок был неминуем. Присудили ему ссылку, в результате четырёх лет сибирского заточения явилась книга «От Тарусы до Чуны». В шестой раз его арестовали и осудили на десять лет строгого режима уже по грозной семидесятой статье – «антисоветская агитация и пропаганда». Прав был какой-то мелкий местный чекист, сказавший ему при освобождении в шестьдесят шестом: «Долго вам на воле не прожить». Поскольку я уже в ту книгу заглянул, то приведу одну цитату (чуть не написал «забавную»): «За шесть лет тюрьмы и лагеря я два раз ел хлеб с маслом – привозили на свидание. Съел два огурца: в 1964 году один огурец, а ещё один – в 1966 году». А в августе 1986 года в Чистопольской тюрьме наступил апофеоз его короткой жизни. Ощувив из газет, что в стране что-то меняется, двигается и тает, он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить в империи всех политзаключённых. Проголодал он сто семнадцать дней, почти четыре месяца. Его кормили принудительно, это было болезненной дополнительной пыткой, но кто-то из

начальственных тюремщиков ему однажды сказал: «Умереть не дадим, смерть избавляет от наказания, а ваш срок ещё не кончился». Я почему-то вспомнил Канта с его «нравственным законом внутри нас». В конце ноября он голодовку снял, но было уже поздно. Умер он в начале декабря. А спустя несколько дней Горбачёв звонил Сахарову, предлагая вернуться из ссылки. Сахаров был в состоянии говорить только о смерти своего давнего друга. Тут и началось освобождение политзаключённых, многие сопоставляют это с гибелью Марченко. Он победил. Но было ему – сорок восемь лет. И нынче он – «известный житель» города Чистополь на Каме.

Хотел я написать уже привычный мне по жанру легкомысленный гулятельный дневник, но в каждом городе всплывает его прошлое, и никуда от этого не деться. Впрочем, вот в Самаре было облегчение большое: там я чуть не помер от кошмара. Было так: в Самару я приехал рано утром, ночь была какая-то смурная и душная, в гостинице немедленно я улёгся досыпать. Проснулся от невнятного разноголосья за окном и поплёлся посмотреть, что там такое. Во дворе стояли и курили шестеро молодых мужчин, одетых совершенно одинаково: синие шаровары с красными лампасами, бурые полевые гимнастёрки и круглые красные шапки с меховой опушкой. А на плечах у каждого – белые погоны с какими-то знаками различия. Двое из них держали сигареты в левой руке, а правая – сверкающей поигрывала саблями. Казаки-белопогонники, всплыло в памяти название времён гражданской войны. Что делают белоказачьи сабли во внутреннем дворе моей гостиницы? Галлюцинация? Всё внутри меня ослабло и провисло, я в каком-то полуобмороке был. Мыслишка между тем отчаянно спокойная текла: давно ведь понимал, что на гастрольные метания мой организм отреагирует однажды, но никогда не полагал, что это будет умственно-душевное расстройство. Минуты три, если не пять, я простоял не шевелясь. Потом сознание вернулось. Я сообразил, что поселили ведь меня не просто в гостинице, а на втором этаже областного дома офицеров – быть может, это некие актёры? Я стремительно надел штаны и рубашку и на всякий случай тихо-тихо, крадучись, пошёл на первый этаж. В огромном зале (тут и будет мой концерт сегодня вечером) сидело несколько сотен глубоких стариков с орденами и медалями во всю грудь. Это шло собрание городских ветеранов по поводу Дня Победы. И казачий ансамбль исполнял для них свои бешеные пляски с саблями. А что костюмы им пошили вражеские, то кому это теперь было важно! Я постоял и тут немного, изнурённый организм приходил в себя очень медленно. Но каким вкусным оказался кофе в фойе! А ветераны принялись тем временем неторопливо вытекать из зала, и некрупный старичок с наградами по пояс, проходя мимо меня, кивнул и ласково сказал: «Привет передавайте нашему народу».

А в Калининграде (он ведь Кёнигсберг и непременно снова будет им) постигло меня истинно высокое умственное расстройство: я примерно час возвышенно полемизировал с философом Иммануилом Кантом, хотя тот помер двести лет тому назад и отродясь я не читал его произведений. Просто понимал, что не осилю, и не брался. Дело в том, что этот великий философ – гордость города Кёнигсберга, все свои восемьдесят лет он прожил тут и похоронен у стены огромного собора, и его могила (саркофаг, вернее, каменный) – первое, что показывают каждому приезжему. А после было у меня часа полтора свободного времени, и бродил я по прекрасным улицам старого города, и приятно было думать, что вот здесь гулял когда-то Кант (а выходил он на прогулку с такой точностью, что по нему сверяли часы) и размышлял он о величии звёздного неба и нравственном законе внутри него (Иммануила Канта). Это собственно всё, что я знал о выдающемся философе. Но оказалось, что не всё. Откуда-то вдруг в памяти отчётливо явилось название одной его статьи – нет-нет, статью я тоже не читал, но так она прекрасно называлась, что было ясно содержание вполне: «О мнимом праве лгать из человеколюбия». Ни фиги себе, подумал я с задором, это же не право (мнимое по Канту), а необходимость, долг и неременная обязанность. Я вру несколько раз

в день – и лично, и по телефону. Ибо на вопрос о здоровье отвечаю, что оно прекрасно. И говорю я так из чистого человеколюбия – зачем я буду огорчать друзей и близких (а с другими я просто не общаюсь). Но ещё я говорю так по лени – мне докучно было бы занудное перечисление старческих невзгод и слабостей. А как не сказать увядающей женщине, что сегодня она отменно выглядит? Ложь, безусловно, – смазочное масло всех механизмов наших человеческих отношений. Тут я внезапно вспомнил стихотворение, которое когда-то с упоением декламировал на школьных вечерах. Не помню, кто его написал и кто переводил (с немецкого, по-моему), называлось оно «Белое покрывало». Там такое было: за вольнолюбие приговорён к позорной казни молодой венгерский граф. И мать его, навестив сына в тюрьме накануне казни, обещает ему, что пробьётся к трону жестокого владыки и будет умолять о помиловании сына. И если в день казни она будет стоять на балконе в чёрном покрывале, то, значит, ничего не вышло, она уверена в мужестве сына, смерть надо принять с достоинством. Но если она будет в белом, значит, его помилуют, прямо на помосте, перед палачом. Она стояла на балконе в белом покрывале, и её мятежный сын улыбался уже даже в петле. И гениальные у этого стиха последние строки: «О, ложь святая! Так могла солгать лишь мать, полна боязнью, чтоб сын не дрогнул перед казнью». Вот ещё один вид праведной лжи.

Теперь о лжи помельче: как достоверны и прекрасны все застольные рассказы рыбаков и охотников! А трогательный лепет дряхлых стариков о своей былой известности, отваге и бесчисленных удачах? А непременно (из чистого человеколюбия) взаимное семейное враньё мужчин и женщин? Нет, я о крупной (и всегда корыстной) презренной лжи не вспоминал. Ту ложь, что гниlostной сетью опутала сегодня Россию, мне и обсуждать не хотелось (и Кант бы в ужасе молчал, расскажи я ему об этом). А ложь во благо, к которой то и дело прибегают врачи? А ложь во имя спасения и обережения друзей и соратников на всяческих допросах в несправедливых судилищах? А хитроумнейший самообман ради душевного спокойствия? И Пушкин тут естественно припомнился: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман». По-моему, я ещё и руками размахивал, успешно опровергая Канта. Ещё у Пушкина в известном произведении (не так давно это заметил кто-то, а я вспомнил благодарно) есть нечаянно точное описание вранья в семейной жизни: волшебный кот, когда идёт налево, сразу же рассказывает сказки.

Целый час куда-то делся, ежели не полтора, но я в таком был несуразном вдохновении! Остыл я так же неожиданно, как загорелся. И уже о грустном думал, на обед плетясь неспешно. Сколько было лжи в нашей жизни при советской власти! Думаешь одно, а говоришь и поступаешь так, как надо, как и все вокруг. Из чистого страха. Это ведь и был социализм в его повсюдном, а не только в области литературы виде. Неприятно было думать, что вполне по той покорной лжи мы заслужили участь обитателей восьмого (кажется) круга дантовского ада, где лжецы томятся в наказание зловонными и мерзкими болезнями. А согласно мифу христианскому – лизать нам раскалённую сковороду. Утешился я тем, что это ведь корыстные лжецы и клеветники, а мы жалко покорствовали, естественно тяготеем к безопасной жизни, то есть как бы из человеколюбия. На этом хитром утешении закончился полёт моей дискуссии с покойным Кантом – я уже шёл к накрытому столу. И думал: знать бы мне ещё, что именно он написал в этой статье – куда бы лучше я полемизировал! А правду вообще я не люблю – особенно безжалостную правду. А интересно: доводилось ли ему общаться с театральным режиссёром после неудачного спектакля? Или с литераторами-идиотами, которые обожают спрашивать, понравилась ли книга. Мельком я ещё подумал со злорадством: как бы этот великий философ выкручивался, приди он домой и спроси его стареющая жена (да был ли он женат? ну, экономка), не слишком ли она располнела.

Вообще-то истинное вдохновение озаряет меня редко. Но в одном из городов (я умолчу название его, причина объяснится позже) я приятно ощутил его присутствие. Пресс-конференцию мне учинили местные организаторы концерта, и я сразу по вопросам ощутил, что

несколько журналистов книг моих не читали – я не о стихах, а о прозе. Потому что чуть не трое одновременно спросили, за что именно я был посажен некогда. Уже я как-то сочинялку эту излагал, но в виде лаконичном, а теперь смотрели на меня сразу пар пять прелестных женских глаз. И я запел, как соловей. Дело в том, сказал я с искренним воодушевлением, что мне друзья когда-то подарили поддельный диплом об окончании медицинского училища, и я открыл частное ателье интимного дизайна. Был я гинеколог-визажист, достиг большого мастерства, и по Москве о нашем ателье глухие слухи поползли, весьма хвалебные. Из-за успеха я и погорел: меня судили за диплом поддельный и невыдачу квитанций об оплате. И минут на пять меня хватило, я детали ремесла того преступного со вкусом излагал, но вовремя почувствовал, что раскусили, и закрылся. Только кто-то мне, возможно, и поверил, хорошо бы посмотреть газеты в этом городе.

В Норильске первый раз я был лет пятьдесят тому назад – да-да, уже такими оперирую я числами. В той вечной мерзлоте, что под Норильском и его окрестностями, лежат несметные природные сокровища: там золото и платина, там медь и никель, кобальт и какие-то редкоземельные металлы (или вещества, я не геолог). И ещё теперь лежит там главное российское богатство – люди, жизнь которых тут прервалась. Их число несчётно и неслитно. Цифра приблизительная – несколько сотен тысяч. В тридцать пятом, когда решено было строить тут медно-никелевый комбинат, пригнали сюда, провезя в барже по Енисею, а потом пешком по голой тундре сто километров, первую тысячу заключённых (а возможно – две тысячи, бесстрастно пишут историки). Шалаши, землянки и лачуги строили они уже сами, а баланду получали во что придётся, у кого что есть. Бывало, что из ботинка её пили, из шапки или просто из горсти. А инструменты у них были много лет – кирка, лопата, лом и тачка. Этими приборами и были выкопаны (выбиты, вернее, в вечной мерзлоте до скального надёжного основания) тридцатиметровой глубины котлованы для зданий горнорудного комбината. А новые рабы всё прибывали и прибывали. Гибли они тут от дикого холода (Норильск сильно севернее Полярного круга, здесь морозы и за пятьдесят не редкость), от смертельного недоедания, от непосильного труда, от множества болезней, лучше их не перечислять. А ещё тут сумасшедшие ветра, и на работу эки порой добирались обвязавшись, как альпинисты, общей верёвкой – запросто сдувал свирепый вихрь тело запредельно отощавшего человека. Снежные заносы (а зима тут – большую часть года) были таковы, что с ними ежедневно боролись четыре тысячи эков. И эти люди побеждали: комбинат состоялся. Даже снег они осилили: зэк Потапов, бывший инженер-путеец, изобрёл заборы, не просто ограждающие (дорогу, например) от снежного заноса, но так направляющие вихревой поток, что он ещё и сдувал с этой дороги попадающий на неё снег. А раньше вот как было (прочитал в одном из воспоминаний): после особенно бурного снегопада под шестиметровым слоем снега откопали застрявший на путях паровоз. Ещё дымился в топках уголь, но машинист и кочегар уже погибли, отравившись угарным газом. Потапов рассчитал направление ветров – оно менялось в разное время года, и такие изгороди почти избавили город от заносов. Стоят они и до сих пор, так и называются: щиты Потапова. Автор этого изобретения (простого и гениального, как изобретение колеса, прочёл я в каком-то очерке) попал сюда прямо из Соловецкого лагеря, где сидел уже два года – по сути, просто за знакомство с Тухачевским. Когда здесь на него наступали, что он постоянно что-то высматривает и подсчитывает, его дёрнули к самому Завенягину, который в те годы руководил стройкой и был одновременно начальником лагеря. Завенягин выслушал инженера и велел ему заниматься только снегом, освободив от общих работ. А вскоре и досрочное освобождение ему устроил. Тут и о самом Авраамии Павловиче стоит упомянуть, он личность легендарная, недаром весь комбинат лет сорок носил его имя. И нельзя не привести цитату о Завенягине в перечне знаменитых норильчан. Биографии всех людей, включённых в этот почётный список (там, кстати, и эки

есть – Потапов, например), сопровождаются разными лестными словами. А про Завенягина написано вот что: «Оценки его на этом посту расходятся. По одним свидетельствам, Завенягину удалось создать в Норильске лояльный режим содержания заключённых, позволивший выжить тысячам людей. По другим, Завенягин – любимец Берии – лично расстреливал заключённых. Мнения сходятся в одном: он был сильным и опытным руководителем». Словом, Завенягин был рачительным рабовладельцем, потому и выжил Потапов. Сколько инженеров и учёных там погибло на смертельных общих работах, знают уже только на небесах. А в Норильск везли и везли этап за этапом.

И ещё об одном зэке непременно надо вспомнить – о корейце Михаиле Киме. Норильск ведь в некоем строительном смысле – родственник Венеции: в обоих городах дома стоят на сваях. Только в Венеции это стволы огромных лиственниц (единственное дерево, которое крепчает в воде), а в Норильске это бетонные сваи, которые вгоняют в вечную мерзлоту. Ибо сама мерзлота – опора ненадёжная, она от потепления ползёт, фундамент большого здания не может опереться на неё, поэтому идея зэка Кима была просто гениальной. Он, кстати, и вознаграждён был по-царски: ему было позволено ходить без конвоя. (Государственная премия и всякие награды были ещё далеко впереди.) Но даже при наличии свай мерзлоту надо было охранять от подвижки, поэтому в самом низу всех зданий в Норильске проделаны большие (и весьма уродливые) дыры – чтобы мерзлота всё время обдувалась свежим воздухом. И ещё ходят специальные люди, проверяя состояние этой капризной основы, а в подъездах висят уникальные таблички: «Берегите мерзлоту!» Тут хорошо бы написать роскошную фразу: «Всё это вихрем пронеслось в моей памяти, едва лишь я вступил на землю Норильска». Нет, к сожалению, не пронеслось, я всё это позднее прочитал. А что касается личных впечатлений, то они, честно сказать, ужасны. Где бы вы ни были – в России, в Европе ли, если вам предлагают показать Старый город (сознательно пишу с большой буквы), то это непременно красивые здания старой или даже древней постройки, прихотливо разбитые парки, всякие архитектурные изыски. И в Норильске есть пространство, именуемое старым городом, и острое ощущение вчерашнего концлагеря мгновенно поражает вашу душу от вида этих мелких и обветшавших строений несомненно тогдашнего происхождения – всякие ремонтные мастерские и прочие технологические службы. Разве что нет поблизости барачков, только их незримое присутствие сразу дополняет общую картину. Всё-таки мне кажется, что люди не должны здесь жить подолгу. Да тем более что и сегодня Норильск занимает первое место в России по загазованности, ядовитости своей атмосферы. Это зона явного экологического бедствия: даже на тридцать километров вокруг – техногенная пустыня, мёртвые деревья и убитая отравленным воздухом растительность тундры. А у людей – несчётное количество болезней от веществ, которые выбрасывают трубы комбината. Недаром тут и короче на десять лет средняя продолжительность жизни. Дикие холода, свирепые ветра и метели, долгая темнота полярной ночи – нет, по-моему, тут надо работать вахтовым способом: месяца три-четыре, ну полгода, а потом – заслуженная и оплаченная передышка в нормальном для человека климате. Я вспомнил слова великого полярного путешественника Роальда Амундсена – он ведь побывал на обоих полюсах планеты, он совершил кругосветное путешествие севернее Полярного круга и сказал простые слова: «Человек не может и не должен жить в холоде». Только тут же я себя и опровергну: норильчане очень любят свой город, им гордятся и к нему как-то душевно привязаны. У меня на выступлении было много народа, и это был один из лучших моих концертов за все гастроли: искренне смеющиеся, слушающие слово люди. И на пьянке после выступления я не услышал ни единой жалобной ноты в разговоре о городе. Это какой-то очень подлинный местный патриотизм (хоть и не очень-то люблю это слово, замызганное пакостными златоустами). И явно не удвоенная зарплата причина этой преданности городу в далёком заполярье. Уникальность своего существования – высокая основа многих загадок человеческого бытия, и любовь к Нориль-

ску – из их числа. Как и весь, возможно, удивительный патриотизм российский, как бы ни пытались всякие мыслители его опошлить. Только очень грустно стало мне, когда я обнаружил, что в музее города почти нет ничего о тех, кто давно уже погиб на давнем истребительном строительстве. Нет, есть в Норильске место, именуемое норильской Голгофой – тут на месте старого городского кладбища стоят несколько сооружений в память мученической смерти нескольких сотен тысяч рабов, но музей-то, он ведь непременно должен эту горестную память сохранять! Мне сказали, как бы соглашаясь, что в день памяти политзаключённых здесь открывают специальную экспозицию, но люди ходят ведь в музей и в остальные дни в году. И снова мне это напомнило такую же картину почитай по всей России: ни к чему тревожить нервы посреди сегодняшнего благополучного покоя. Впрочем, не моё это, по сути, дело, только город, на костях построенный, обязан вспоминать об этом. Потому хотя бы, что любая сохраняемая память очень-очень благотворна и целительна.

Как только вступаю в пафос, что-то изнутри меня толкает: охолонь, остановись, ты иностранец и заезжий фраер, лучше что-нибудь приятное из той поездки вспомни.

Немедля вспомню, с лёгкостью и удовольствием. В первый мой приезд в Вятку мне там было так хорошо и интересно, что я и в этот раз не сомневался: город меня чем-нибудь одарит. И нисколько не ошибся. В антракте выступления, когда я надписывал вятчанам книги, подошёл (постояв в очереди) какой-то незнакомый человек и молча положил мне на стол небольшой томик. Я поблагодарил его, не посмотрев на подношение (графоманы часто дарят свои книги), а принесся его к себе в гримёрную, сунул в пакет, оставив до гостиницы. Как же намокли мои глаза, когда я рассмотрел эту книгу! И как же я ругал себя за то, что хамский сукин сын и сразу же не среагировал на совершенно уникальный дар. Это была книжка ручной работы, изданная в единственном экземпляре, под названием «Сентиментальное путешествие Мироныча в Вятку». На изумительного качества плотной желтоватой бумаге, красной тушью каллиграфическим почерком там была переписана та главка из моей последней книжки, где я излагал свои впечатления о городе. А ещё было много моих стихов и лёгкие рисунки пастелью – виды Вятки. Если к этому ещё прибавить с большим вкусом сделанную обложку – тонкая дерюжка на картоне, – то в руках у меня было чистое произведение искусства. Позади, по счастью, значились координаты автора, и, возвратившись, я с ним сразу же связался. Евгений Мусохранов оказался преподавателем экономики в Вятском университете, но настолько увлёкся книгами ручной выделки, что уже подумывает бросить работу. На это удивительное ремесло он запал душой и сердцем года три всего назад, но уже сделал около сотни книг и поучаствовал во многих международных выставках. Искусствоведы только цокают языком, рассматривая его причудливые работы. Интересный у него принцип отбора авторов: под мастерское его перо (а между прочим – перья школьные, случайно сохранившиеся в доме) попадает только то, что тронуло его душевно. И я тайно возгордился, авторские имена услышав: Лермонтов, Бернард Шоу, Хармс и Зощенко. А ещё он пишет своим немыслимо изысканным почерком трёхтомную историю его семьи – чтобы потомок через сотню лет с ней ознакомился и нить времён почувствовал. Я думаю, что Гутенберг одобрил бы такое рукоделие. А я всё время этой книжкой хвастаюсь, настырно тыча её всем гостям на каждой пьянке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.